

А. Чеховъ и его „Сосѣди“.

Имя г. Чехова пользуется значительной популярностью среди читающей публики и оно вполне заслуживает этой популярности. Произведения г. Чехова рельефно выделяются из массы современной беллетристики, на нихъ лежитъ печать несомнѣннаго и архаго таланта, во вѣстѣ съ впечатлѣннѣе силы таланта изъ его произведений выносятся еще и другое, нѣсколько своеобразное, впечатлѣннѣе, которое на первыхъ порахъ выражается смутными ощущеннѣе какого-то недостатка: «все хорошо, а чего-то нѣтъ». Талантъ автора несомнѣненъ, его характеристика явна и остроумна, его дѣйствующнѣе лица—живы, въ плоть и кровь облеченные огуры, рассказы ведутся бойко, картинны природы останавливаютъ вниманнѣе обнѣежностью и красотой; словомъ, все даннѣе для полного уснѣежа автора и полного удовольствореннѣе читателя, в между тѣмъ этотъ послѣдннѣе неловко чувствуетъ какой-то пробнѣеж и не находнѣе въ себѣ законченнаго впечатлѣннѣе.

Этотъ пробнѣеж становится еще чувствнѣе, если читать произведеннѣе г. Чехова не «въ розницу», а «оптомъ», т. е. обратиться къ его сборннѣежамъ «Въ сумеркахъ», «Разсказы», «Хмурые люди». Маленькнѣе рассказы г. Чехова, взятые въ единичную, еще могутъ удовлетворнѣе себою читателя, если онъ станетъ смотрѣе на нихъ именно какъ на художественную мелочъ, родъ литературныхъ миниатюръ, но сборннѣеж этихъ миниатюръ буднѣе въ немъ

уже другнѣе требованнѣе—«все мелочъ, да мелочъ, но вѣдъ должно же изъ этихъ мелочей въ нихъ массѣ вынѣежти что-нибудь крупное». Вѣдъ, и Щедринъ замнѣежился «мелочами жизни», но изъ нихъ совокупности у него слогалось ннѣежто весьма большое. Да и въ ннѣежрѣ дѣйствнѣежности, вѣдъ, мелочъ только до тѣхъ поръ в мелочъ пока она беретъ въ отдѣельности, а какъ скоро къ ней присоединнѣежтся другая, третья, пятая десятая и т. д. мелочъ, то изъ нихъ вынѣежходитъ уже цѣлая сторона жизни, нѣежрѣдко огромной важности. Вѣдъ в въ легендѣ говорнѣежтся, что какой-то царь велѣежлъ своимъ воинамъ каждому принести по горсти земли и выросъ изъ нихъ цѣлый холмъ и царь могъ поднѣежтись на него, и обширннѣежй вѣдъ открылся его глазамъ. Вотъ именно такого-то холма я не воздвнѣежгаю ннѣеж г. Чеховъ въ массѣ тѣхъ беллетристическихъ горстей, которые онъ приноситъ отъ времени до времени, и вопреки всѣмъ законамъ природы эти горсти пропадаютъ въ какой-то Данандиной бочкѣ и изъ всѣхъ этихъ мелочей не вынѣежходитъ никакого цѣлага. А отсюда понятнѣеж медовольство читателя и ощущеннѣе ннѣеж какого-то недостатка.

Критика уже выяснила причину этого страннаго явленнѣеж, она уже открыла отсутствнѣе въ произведеннѣежх г. Чехова связующаго элемента, того фундамента, на которнѣеж онъ воздвнѣежгаетъ свое зданнѣеж, и объяснила, что это есть отсутствнѣеж опредѣленной точки зрѣннѣеж на вещи, опредѣленнаго ннѣежросооцерценнѣеж, «общей идеи» или, говори популярными словами самаго г. Чехова, «Бога живаго человека». «Жртва безареннѣежннѣеж», какъ его удачно окрестнѣеж г. Пре-

топоповъ, г. Чеховъ попалъ въ ту литературную полосу восьмидесятыхъ годовъ, представителемъ которой, легкомысленно отвернувшись отъ будто бы несостоятельныхъ идеаловъ своихъ предшественннѣежковъ, не сумѣежли выработать, взявши ихъ, оригинальнаго и самостоятельнаго ннѣежросооцерценнѣеж и остались, какъ былинка въ поле, колеблемая вѣтромъ, растеряннѣеж обращаясь то «съмо» то «совами». Эта растерннѣежность не могла не сказаться и на ихъ произведеннѣежх—взвнѣежннѣеж твердой, ясной, убнѣежжденной рѣчи «отцовъ», зазвнѣежчала туманная, обнѣежчивая, отрывочная рѣчи «дѣтей». «Отцы» знали не только, что они говорнѣежли, они знали почти всегда и зачѣежмъ они говорнѣежли, знали, куда они сами идуть и куда ведутъ за собой общество. «Дѣти», напротивъ, зачастую не знали (и не знаютъ) даже что такое они говорнѣежтъ, т. е. не знаютъ, не понимаютъ значеннѣеж изображаемыхъ ими картинъ. Понятнѣеж, что при этомъ условннѣеж, при отсутствнѣеж строго продуманнаго ннѣежросооцерценнѣеж и при простонающемъ отсюда отсутствнѣеж пониманнѣеж собственной работы и ея значеннѣеж, невозможно не только руководствнѣежство обществомъ, но даже простая цѣльнѣежность своего творчества, простое понимковеннѣеж своихъ случайныхъ и отрывочныхъ работъ одной общей идеей, соединеннѣеж массы горстей въ одинъ высокнѣежй холмъ, съ вершиннѣеж которого мы, читатели, можемъ быть, многое бы увидели и многое поняли. А безъ него мы стоимъ попрежнему на равнннѣеж и какъ были съжжжены наши горизонты, такннѣеж они и остаются. Если самъ авторъ не будетъ знать, «правная, лѣвая гдѣ сторона», что было и

Волжский вестник. Казань,
1892. Август. №195.

что черно, то естественно, что это останется неизменным и для читателя. И тогда произведение, затрагивающее охват общественной жизни, но намерен письма ничьим не будет оглашаться от произведения, рисуемого явление природы или охват совершенно безразличны с общественной точки зрения. Говора языком живописи, это будет *nature morte*, область которой расширилась до того, что захватила и предметы одушевленные. Внешняя оболочка этих предметов изображена, быть может, превосходно, но их душа им не видна. Отсюда не следует, конечно, что писатель непременно должен высказать нам свое личное мнение об изображаемых им лицах и явлениях. Дело не в его мнении, а в понимании им того, что он изображает. Свой взгляд на охват он может нам сообщить или не сообщить — на то его добрая воля, но он должен понимать, что он рисует *a*, а не *e*, хорошего человека, а не подлца, охват общественной жизни, а не личное ощущение и не явление природы. Трудно представить себе большую объективность, чем та, которую обнаружил Лев Толстой в *Войне и Мире*, но, тем не менее, рисуемые им фигуры и явления совершенно ясны для нас. У г. Чехова, напротив, почти во всех его работах, касающихся явлений общественного характера (за исключением разве *Скудной Истории* и *Души*) замечается именно непонимание этого общественного характера произведения. Везде у него изображается только внешняя оболочка, все внешние подробности и аксессуары, но не чувствуется присутствие духа. Для бездушной при-

роды этого, конечно, достаточно, но в картинах человеческой жизни ощущается пробыв. Кроме того, все явления изображаются г. Чеховым вне их связи с другими однородными или ближайшими, вследствие чего получается впечатлительные отрывочности. И опять-таки эта отрывочность уместна в картинах природы, которые сами себя доводят, но лишены нам уяснить себе истинный смысл общественных явлений, которые становятся вполне понятны только в связи со всеми своими причинами и следствиями. Но избрание эту связь г. Чехов не может — она не была для него самого.

Отсюда-то и вытекает помимо чувства неудовлетворенности для читателя такое странное на первый взгляд явление, что некоторые рассказы, г. Чехова, имеющие несомненное и даже большое общественное значение, проходят совершенно незамеченными с этой стороны. Для примера укажу на рассказы *Злоумышленник* (в *Пестрых рассказах*), *Вялочка* (сборник *В сумерках*), *Вдова* и *Стать хочется* (сборник *Хмурые люди*). Даже такой чуткий и проникательный критик, как г. Михайловский, разбирая сборник *Хмурые люди*, совершенно не замечает общественного значения указанных рассказов и ставит их на одну доску с такими бездушками, как *Почта* и *Шампанское*. То же сплошь и рядом встречается и в публикациях. Это явление объясняется несомненно отношением самого автора в сюжетах упомянутых рассказов. Г. Чехову (как писателю), действительно, все равно, колокольчики ли звенят, человека ли уснул, шампанское ли пьют или

кто-нибудь ни за что, ни про что в тюрьму попал. Все это для него безразлично и однородны явления внешнего мира — *nature morte*. И эти непонимания изображаемых им явлений г. Чехов косит самого себя по ногам, отнимая у своих рассказов то значение, которое они могли бы иметь.

Характерным образчиком непонимания г. Чеховым общественного смысла рисуемых им типов является и новый его рассказ *Соседи*, к которому мы теперь и обратимся.

Петр Михайлович Кашинцев — так начинается этот рассказ — был сильно не в духе: его сестра, дѣвушка, ушла из Власичу, женатому человеку. Отсюда понятно огорчение Кашинцева, его стимелое, унылое настроение. «Он призывал из себя на помощь чувство справедливости, свои честные, хорошие убеждения — вѣдь, он всегда стоял за свободную любовь! — но это не помогало... Кашинцеву смущала его семейная обстановка — мать его захворала от огорчения, няня все шептала и вздыхала, тетя собиралась уехать и чемоданы ее то вносили в переднюю, то уносили назад, в комнату». Даже прислуга и мужики, как назалось Кашинцеву, чего-то озирали от него. «И он упрекал себя в бездѣйствіи, хотя и не зная, в чем собственно должно было заключаться дѣйствіе».

«Тимелое и унылое настроение» Кашинцева, который никак не может разобраться, что важнее — «чувство справедливости» и «честные и хорошие убеждения» или путешествуя вѣдь и вперед чемоданы тетушки — не должно показаться нам уда-

Волжский вестник. Казань, 1892. Чавгуста. N:195.

вительным, когда мы познакомились съ характеристикой этого героя.

«Ему шель только двадцать песьной годъ, но ужь онъ былъ толстъ, одѣвался по-стариковски по все широкое и просторное, и страдалъ одышкой... Онъ не влюблялся, о женьтѣхъ не думалъ и любилъ только мать, сестру, няню, садовника Васильча; любилъ хорошо поѣсть, поспать послѣ обѣда, поговорить о политикѣ и о возвышенныхъ матеріяхъ... Онъ кончалъ курсъ въ университетѣ, но смотрѣлъ на это такъ, какъ будто отбылъ повинность»...

Одинъ словенъ, это тинъ покладистой, рыцарской натурѣ—то, что называется «тионкъ», «байбагъ». Трагикомическое положеніе, въ которое онъ попалъ, такъ смутило его, что онъ самъ сознается: «можно предирднать только одно—какую-нибудь глупость, но и глупости подходящей не придумаешь».

Однако, за глупостями дѣло не стало—писанно пропламененнымъ глѣзомъ, Кашнищевъ носнакалъ въ Власичу—«объясниться» и дорогой сузилъ этому «либералу» всякія неприятели. Но дойдя до Власича, онъ пришелъ въ свое нормальное положеніе и оказался, какъ ему и подобало быть, обыкновеннымъ тиронкомъ. Онъ и у Власича очутилъ и явилъ — не ипрителъ некресно и крано съ овантани и не осуждасть изъ рѣшительно. Такъ и не действительнымъ явилъ и его отношеніе къ самому Власичу.

«Петръ Михайловичъ считалъ Власича хорошимъ, честнымъ, но узкимъ и одностороннимъ человекомъ. Въ его колеміяхъ и страданияхъ, да и во всей его либеральной жизни онъ не видѣлъ ни ближайшихъ,

ни отдаленныхъ высшихъ цѣлей, и выдалъ только скуку и неумѣнье жить. Его саво-отверженіе и все то, что Власичъ называлъ подвигомъ или честнымъ порывомъ, представлялось ему безцельною тратою силъ, ненужными холостыми выстрѣлами, на которые шло очень много пороку. А то, что Власичъ романтически избралъ изъ необыкновенную честность и непогрѣшимость своего мышленія, назалось ему наваннымъ и даже безцѣленнымъ».

Иначе, конечно, и не можетъ разсуждать человекъ, который самъ откровенно сознается, что у него «сизаникъ», а не сердце. Понятно также и его недоуменіе надъ вопросомъ: чѣмъ Власичъ могъ поправиться сестрѣ?—«Немолодой—ему уже 41 годъ,—толщій, судопарный, узкогрудый, съ длинными носомъ, съ просѣдою въ бородѣ. Говоритъ онъ точно гудеть, улыбається болтливо, и, разговаривая, некрасиво савлаживаетъ руками. Ни здоровья, ни красоты, ни мужественности матеръ, ни стѣткости, ни ессности, а съ внешней стороны что-то тусклое и неопредѣленное. Оды-авается она безусловно, обстановка у него умалая, нованъ и живонис онъ не признаеть, потому что онъ «не отицаеть на запросы дна», т. е. онъ не понимаетъ нтъ; нушка его не трогаетъ. Ховинъ онъ плохой... У него нтъ ни талантовъ, ни дарованій и нтъ даже обыкновенной способности жить, какъ люди живутъ. Въ практической жизни это наванный, слабый человекъ, котораго легко обмануть и обидѣть, и живни подаромъ низывають его «простоватымъ».

Онъ либералъ и считается изъ уѣдѣ краснымъ, но и это выходитъ у него

скучно. Въ его волюнтеристъ нтъ оригинальности и цѣлоса; возмущается, неодоустъ и радуется она какъ-то все въ одну ноту, неэффектно и елю. Даже въ минуты савнаго воодушевленія онъ не поднимаетъ головы и остается суму-лымъ. Но скучнее всего, что онъ страшно отсталъ въ своихъ идеяхъ. Вопонивается что-то старое, давно читанное, когда онъ медленно, съ глубокомысленнымъ еидомъ, начинаеть толковать про честныя, свѣтлыя нануты, про лучшіе годы, какъ когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идетъ впередъ общества, или порицаетъ русскаго людей за то, что она изъ тридцать лѣтъ надвѣвають халять и забываютъ заплѣты своей аипае матеръ. Когда остаешься у него ночевать, то онъ кладеть на ночной столѣтъ Писарина или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читалъ, то онъ выидеть и принесеть Добролюбова».

Я нарочно сдѣлалъ эту данную выписку—это центральное мѣсто разсказа въ отношеніи Власича, наиболее освѣщающее эту тинъ и, живѣтъ съ тинъ, слышонъ ясно, что тутъ не только передовой человекъ, Петръ Михайловичъ Кашнищевъ, разсуждаеть объ отсталости и скуаъ Дарвина и Добролюбова, но... устами его говоритъ и самъ авторъ: подобная сложная и съ полемическимъ отѣнкомъ составленная характеристика едва ли въ лицу добродушному и престодушному увалю, Кашнищеву. Но, даже оставивъ за ланъ одинъ честь составления данной характеристики, мы все же, за отсутствіемъ всякой другой, должимъ будеть смотрѣть на Власича сквозь

Волжский вестник. Казань,

1892. 4 августа. № 195.

C. 2-3.

призму выписанных мною строкъ. Но какое впечатление производятъ на насъ эти строки? Даютъ ли онѣ намъ менѣе представленіе о Власичѣ и объ общественномъ значеніи этого тѣла? Не удивляетъ ли насъ, напротивъ, странная путаница въ вышеприведенной выпискѣ чертъ характера Власича и отрывковъ изъ его міросозерцанія съ чѣмъ вышшими его качествами и недостатками, и даже болѣе того — освѣщеніе прорывъ посредствомъ послѣднихъ? Характеръ Власича и его убѣжденія рисуются и разбираются не по тѣмъ достоинствамъ и недостаткамъ, которые они имѣютъ сами по себѣ, а по той внешней формѣ, въ которой они проявляются. Прямое всего, мы узнаемъ, что у Власича «длинный носъ», что онъ «говоритъ, точно гудеть», что у него нѣтъ ни «красивыхъ, мужественныхъ манеръ, ни свѣтскости, ни веселости»; далѣе идетъ рѣчь объ его «безвкусономъ» костюмѣ, объ его «унылой» обстановкѣ, объ отсутствіи у него «практическихъ» талантовъ и когда, наконецъ, мы добраемся до его убѣждений, то и тутъ мы узнаемъ только, что «это выходитъ у него скучно, неэффективно, вяло». Онъ, видите ли, высказывая свои воззрѣнія, «не поднимаетъ головы и остается сутулымъ». И при этомъ «скучные» всего» сказывается его якобы отсталость, его неумѣнье услѣдить за духомъ времени, проникнуться ароматомъ fin de siècle. И тутъ, стало быть, вся бѣда въ неэффективности, въ отсутствіи пріятныхъ манеръ и оживленнаго, веселаго, свѣтскаго облика. Но какъ бы — сочувственно или враждебно — мы ни смотрѣли на личность Власича, но, вѣдь, нельзя же рассу-

дать объ его убѣжденіяхъ съ точки зрѣнія его манеръ и говорить о «скудѣ» его міросозерцанія вѣдѣютъ того, что онъ «не поднимаетъ головы и остается сутулымъ». Передъ нами рисуется именно одна только вышняя оболочка, *l'âme morte*, и живой души даннаго тѣла, даннаго общественного явленія мы не видимъ.

И оиять-таки совершенно напрасно было бы ссылаться здѣсь на козла отпущенія, Кашницева, какъ на виновника неопредѣленности и неадекватности оцѣнки Власича. Дѣло въ томъ, что даже веденіе разсказа отъ лица котораго-нибудь изъ его героевъ (а «Сосуды» написаны вовсе не отъ лица Кашницева) не освобождаетъ автора отъ необходимости сдѣлать для читателя несмысленными лицомъ разсказа, хотя бы набранный герой и имѣлъ о нихъ сугубое представленіе. Въ *Дѣтство и Отрочество* Л. Толстого, напримеръ, разсказъ ведется прямо отъ лица Николайки, который со своей ребяческой точки зрѣнія многое представляетъ себѣ не вѣрно, а многогѣ и не помнитъ, но для насъ самыя важныя лица и перипетіи разсказа и мы представляемъ ихъ себѣ далеко не такъ, какъ Николайка.

А что касается до Кашницева, то итотъ благополучный байбакъ остается вѣрнѣе себя до конца. Ничего не сдѣлавъ у Власича, онъ и убѣждаетъ отъ него въ самомъ неопредѣленномъ состояніи.

Съ досады на свою безтолкувость, онъ впадаетъ въ уныніе и начинаетъ обвинять себя въ неискренности и трусости и плакаться на тѣноту и невразумительность всей своей жизни. «Петръ Михайловичъ печально глядѣлъ на воду и, вспоминая свою

жизнь, убѣждался, что до сихъ поръ говорилъ онъ и дѣлалъ не то, что думалъ, и люди платили ему тѣмъ же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, какъ эта вода, въ которой перепутались водоросли.

— Господи помоги... борготалъ онъ растерянно. — Господи помоги...

На этой оразѣ занавѣсъ падаетъ.

Надо отдать справедливость г. Чехову: типъ байбака, тѣмъ, правда, меновый въ нашей литературѣ, вполне удался ему. Но тѣмъ рельеознѣе выдѣляется неудача съ оцѣнкой Власича и тѣмъ сильнѣе чувствуется неудовлетворенности читателей. Невозможно ощущается, что у г. Чехова, какъ писателя, недостають умѣнья разобраться въ жизненной сутолокѣ, умѣнья понять весь смыслъ даннаго явленія и дать ему надлежащее освѣщеніе. И невозможно кажется, что не только Кашницеву, но и самому г. Чехову жизнь представляется темной, какъ вода ночью, а ея сложныя и взаимно переплетающіяся явленія такими же несообразно путанными, какъ водоросли въ водѣ. А при этомъ отсутствіи немого и выработанаго міросозерцанія, при неумѣнн заглянуть въ общественную жизнь далѣе ея вышней оболочки, встрѣчался съ этой жизнью, только и остается поминать передъ ней плечами съ недоумѣніемъ и растеряннѣе борготать: «Господи помоги, Господи помоги»...

И. Нерцовъ.